

*Господи, мы знаем, кто мы такие,
но не знаем, чем можем стать.*

У. Шекспир. «Гамлет»*

Предисловие

Любой человек, приступающий к описанию блокадной этики, испытывает сильнейшее эмоциональное напряжение, увидев бездну невероятных страданий, неисчислимых утрат, неизбежного горя. Холодное, бесстрастное повествование о ленинградском кошмаре 1941–1942 гг. невозможно. Людям свойственно чувство сопереживания и потому страшное прошлое с заревом бесчисленных пожаров, с потрясающими картинами массовой гибели горожан на глазах их родных и близких, с истерзанными бомбежками улицами обжигает сегодня и будет обжигать всегда. Здесь могут показаться неуместными сдержанность, научный слог, обдуманность исследовательских приемов. Но другого пути нет. Чтобы понять, как выстоял человек, надо принимать его таким, каким он был — без попыток смягчить рассказ, без искажений и умолчаний. Лишь увидев ленинградца-блокадника во всем многообразии его противоречивых характеристик, рассмотрев те грани его облика, в которых светлое перемешивалось с темным, мы можем представить и глубину той чаши испытаний, которую ему пришлось испытать, и цену, заплаченную за то, чтобы не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство.

Ленинградская трагедия отражена в тысячах документов. Вряд ли другие события Великой Отечественной войны столь подробно описаны буквально по дням. Воспоминания, дневники и письма являются ценнейшим источником для освещения истории блокады,

* Пер. М.Л. Лозинского

но даже еще совсем недавно они использовались с чрезмерной осторожностью. Отчасти причиной тому были идеологический контроль и самоцензура исследователей. Блокадная повседневность, какой она предстает перед нами со страниц дневников и писем — даже в тех случаях, когда их авторы являлись безусловно политически лояльными и использовали в «речи для себя» официозные формулы, — оказывалась исключительно бесчеловечной и жестокой. В научной и популярной литературе старались не допускать развернутых описаний слабостей людей и их беспомощности.¹ Поэтому приходилось либо не вчитываться в такие тексты глубоко, либо высвечивать одни эпизоды и отодвигать в тень другие. Сделать это было непросто. Как и любые другие исторические источники, блокадные документы можно было «смягчить» и отредактировать *post factum*. Но придать требуемое направление позднейшим запискам было все же легче, чем ломать спаянные между собой записи дневников и пытаться соединить разрозненные цитаты, вырванные из писем. Здесь не помогли бы комментарии и автокомментарии к дневниковым текстам времен войны — опыты такого рода можно встретить в публикациях о блокаде 1970–1980-х годов.²

Полноценному использованию дневников и писем препятствовало и другое обстоятельство. Сама манера, стиль и сценарии изложения, используемые авторами публикаций о блокаде (как научных, так и художественно-публицистических), подчиняли их замысел следующей схеме: испытания — героизм — победа как награда за подвиг. Миф стал частью исторического сознания, но его возникновение не всегда может быть объяснено только идеологическим давлением. Это мы видим даже по тем исследованиям, которые были созданы после распада СССР.

Еще одним препятствием для воссоздания целостной и правдивой картины осады Ленинграда является самоцензура тех, кто писал о блокаде. Это одна из болезненных тем, и не коснуться ее нельзя. Публикация наиболее откровенных записок и дневников,

¹ Блюм А. Блокадная тема в цензурной блокаде // Нева. 2004. № 1. С. 244.

² См., например: Память: Письма о войне и блокаде. Л., 1985; Память: Письма о войне и блокаде. Вып. 2. Л., 1987; Кулагин Г. Дневник и память. О пережитом в годы блокады. Л., 1978.

передающих страшную правду о войне, до середины 1980-х гг. была крайне затруднена. Если они и печатались, то со значительными сокращениями. «Блокадную книгу» А. Адамовича и Д. Гранина удалось выпустить в свет впервые только в Москве. Отметим и высказанный ленинградскими цензорами упрек Л. Гинзбург в том, что в своих записках она много места уделяет еде. Характерным являлся и отбор документов для публикации. Нередко обращались лишь к тем из них, где преобладали оптимистические ноты и смягчались ужасающие подробности распада человеческой личности. Неудивительно поэтому, что такие беспристрастные свидетели трагедии, как Д. С. Лихачев и В. М. Глинка, давали нелицеприятные оценки «блокадной» литературе 1940–1970-х гг.³

Меньше всего обвинений можно адресовать самим авторам документов. Их воспоминания, дневники и письма сейчас почти все стали доступными для исследователей, и мы имеем право утверждать, что они старались честно рассказать, хотя и с разной степенью полноты, о тех лишениях и страданиях, которые им пришлось перенести. «Вы неудачно попали, если хотите услышать что-нибудь положительное», — скажет одна из блокадниц, когда у нее начали брать интервью.⁴ Конечно, не во всех описаниях блокадных будней отразились темные стороны тех дней. Самоцензура чувствуется по обилию патетических вкраплений, чуждых большинству документов, созданных блокадниками. Ее можно обнаружить и прямо, видя зачеркивания в подлинных текстах, отредактированных авторами. Скрупулезная «вычистка» в них названий объектов, подвергшихся бомбардировке, возможно, была необходима в условиях того времени. Но мы можем встретить и такие пометы, которые призваны смягчить высказанные в этих документах жесткие оценки. Так, в одном из дневников автор в предложении «как быстро мы докатились» вместо слова «мы» поставил «наши столовые».⁵ Такие поправки следует признать симптоматичными.

³ Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 1997; Глинка В. М. Блокада // Звезда. 2005. № 1.

⁴ Интервью с С. П. Сухоруковой // Нестор. 2003. № 6. С. 177.

⁵ Коноплева М. С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 8 сентября 1941 г.: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 368. Д. 1. Л. 66.

Особо следует сказать о записках, предваряющих текст документов. «Считаю нужным отметить, что в некоторых случаях я отмечала не только факты, но и “слухи”, которыми жили и которые жадно ловили ленинградцы в тот период, когда не было ни газет, ни радио, отсутствовали телефон и почта», — это объяснение в письме в Гослитиздат 9 июня 1943 г., приложенном к тексту дневника М. С. Коноплевой,⁶ больше похоже на оправдание. В ряде случаев, напротив, извинялись за то, что их описания смягчены.⁷

Давлением военной и иной цензуры и необходимостью идти на уступки, чтобы увидеть свою книгу опубликованной, это не всегда можно объяснить. Здесь, во-первых, сказалось влияние историографического канона освещения блокады, получившего окончательный вид в середине 1960-х гг. Обоснованно или нет, но именно в нем многие блокадники видели недвусмысленное признание совершенного ими подвига. Другой схемы часто не знали, и она сильнее усваивалась, в том числе и потому, что пропагандировалась всеми средствами идеологического воздействия. В соответствии с этим канонам очевидцы блокады выстраивали свое повествование, заимствовали опробованные здесь различные формулировки и риторическую лексику.

Отмечалось прежде всего то, что обратило на себя внимание необычностью и драматизмом, что являлось самым значимым для спасения людей. Спокойствия рутинных записей, оттеняющих незначительные детали, мы здесь почти не встретим. Это вполне оправдано и понятно, но иногда не позволяет исследователю выявить повседневные блокадные практики во всем многообразии их связей, в сцеплении случайных и неслучайных обстоятельств.

Во-вторых, сдержанность в передаче кошмарных подробностей блокады в значительной мере была обусловлена присущими человеку этическими запретами. Не все готовы были описывать крайние формы физиологического и нравственного распада людей, особенно родных и близких. В этом видели бестактность по отношению к жертвам войны, нарушение семейных традиций, проявле-

⁶ Коноплева М. С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 8 сентября 1941 г.: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 368. Д. 1. Л. 1.

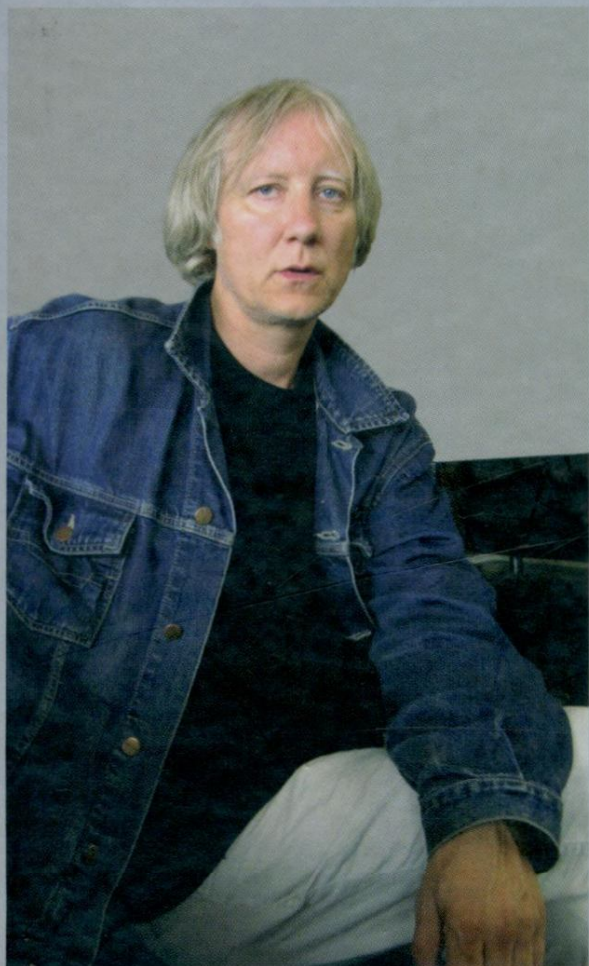
⁷ Шулькин Л. Воспоминания баловня судьбы // Нева. 1999. № 1. С. 153.

ние неоправданной жестокости. Этика сочувствия требует, чтобы взгляд не останавливался излишне долго на скорбных картинах агонии человеческой личности, отмеченных прежде всего именно в дневниках.

Но не только самоцензура авторов документов делает для историков трудным их использование. Эмоциональность рассказов о войне, вполне понятная, если учесть, какую чашу горя пришлось испытать горожанам в те дни, вместе с тем не дает возможности в полной мере представить все детали конкретных событий — они иногда заменены имеющими пафосный характер обобщениями. Желание людей высоко оценить тех, кто помог им в трудную минуту, делает ряд их характеристик идеализированными, лишенными противоречий и сложностей — иначе, впрочем, не могло и быть. Отметим также, что многие блокадники смогли наблюдать лишь малую частицу того, что происходило в городе в это драматическое время. Их передвижения ввиду истощенности и отсутствия транспорта были ограничены, тысячи ленинградцев стали «лежачими». По поступкам нескольких человек они могли составить мнение о поведении всех и отстаивали свои оценки бескомпромиссно и с убежденностью, хотя многие из них были основаны на свидетельствах других людей.

Вполне естественным являлось желание блокадников передать свои наблюдения в наиболее яркой форме, в литературном оформлении — в некоторых случаях это вело к хаотичности рассказа, преследовавшего в первую очередь художественные задачи, делало его менее достоверным, позволяло убирать на второй план не очень красочные эпизоды. Изучая свидетельства блокадников, мы также должны иметь в виду, что их внимание к тому или иному событию не всегда отражает степень важности его в ряду эпизодов осады Ленинграда, а высказанные ими мнения не всегда типичны в целом для горожан. Должны обязательно учитываться уровень их культуры, преобладающие интересы, способность к глубокому самоанализу. И, конечно, должны обязательно приниматься во внимание степень их ответственности за свое дело, их желание оправдаться в своих поступках, их личные симпатии и антипатии — только в этом случае можно оценить подлинные мотивы их действий.

Эта книга — о цене, которую заплатили за то, чтобы оставаться человеком в бесчеловечное время. Люди, не покинувшие город, возможно, надеялись, что беда обойдет их стороной. Никто и предположить не мог, что им придется пережить. Когда же они поняли, в какой пропасти оказались, им некуда было идти. Они должны были узнать, какими безмерными могут стать человеческие страдания, жестокость и безразличие. Пришлось увидеть все — своего ребенка, искалеченного после бомбежки, умирающую мать, просящую перед смертью крошку хлеба, но так и не получившую ее. И бесконечную череду других блокадников — безнадежно сопротивлявшихся распаду, призывавших к состраданию и умолявших о помощи. Светлой памяти этих людей, принявших смерть в невероятных муках, посвящается моя книга.



Сергей Викторович Яров —

доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета А.И. Герцена, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Автор свыше 120 научных трудов, в том числе 10 монографий и учебных пособий.

В книге изучены представления о морали в Ленинграде осенью 1941 г. – весной 1942 г.: понятие о чести, милосердии, справедливости. Показано, как изменялись нравственные нормы в семье, среди друзей, соседей и сослуживцев. Рассмотрено отношение блокадников к наиболее слабым и беззащитным людям: «дистрофикам», беспризорным детям. Книга предназначена для преподавателей, студентов и всех интересующихся отечественной историей.



9 785981 878060